

ГЛАВА I. Политическое отлучение; необходимость для рабочей демократии заявить свой разрыв

Заметим, что с 1848 г. Французская нация разделяется на семь главных партий:

- a) Легитимистов;
- b) Орлеанистов или приверженцев конституционной монархии;
- c) Бонапартистов или империалистов;
- d) Клерикалов, епископалов или иезуитов;
- e) Республиканцев консервативных, которые отличаются от предыдущих только отрицанием монархии, а в экономических вопросах следуют тем же принципам, как и монархисты;
- f) Республиканцев радикальных или демократов, иначе красных или социалистов; к ним логически примыкают –
- g) Федералисты.

Каждая из этих партий подразделяется на множество оттенков: так мы видели (часть 2, глава II), что радикалы разделялись на две школы, школу коммунистов или Люксембургскую и школу принципа взаимности, недавно основанную Шестьюдесятью. Едва республика утвердилась 24 февраля 1848 г. на месте монархии, как возникла вражда, а вскоре и междоусобная война между союзом старых партий a, b, c, d, e и новой партией f-g, которую защитники старых начал обвиняли в заговоре против собственности, религии, семейства и нравственности.

Последствия этого обвинения оказались весьма счастливыми для обвиненной партии. Она положила начало уничтожению старых партий, принудив их примириться друг с другом; потом она сделала республику солидарною с своими принципами, доказав, что принципы эти прямо вытекают из республиканских начал. Со времени Люксембургских заседаний, особенно с 16-го апреля, борьба против социальной республики сделалась задачей всех

правительств, переходя, как по наследству, от одного к другому, от временного правительства к генералу Кавеньяку, от генерала Кавеньяка к президенту Людовику Наполеону, от Людовика Наполеона к императорскому правительству, которому союзные партии, враждебные социальной демократии и побежденные в одно время с нею 2 декабря, дали название Спасителя Общества.

Теперь мы видим, что в борьбе против красной или социальной демократии, сначала в 1848 и 1849, потом в 1851 и 1852 г. г., сосредоточивается весь интерес современной истории; что до сих пор она остается главным условием существования императорского правительства; что в своей домашней политике вторая империя никогда не упускала из виду этого условия своего существования; что нет основания думать, чтобы она изменила теперь свое поведение, тем более, что на выборах 1863 и 1864 г. радикальная партия приняла угрожающее положение и что только страх Социализма связывает с правительством побежденные, но непримирившиеся с ним партии легитимистов, орлеанистов, консервативных республиканцев и клерикалов. Таким образом, с нашей точки зрения, императорское правительство, на которое антрепренеры конституционной оппозиции хотят свалить все бремя непопулярности, постигшей одинаково всех их, представляется простым выражением реакции. Наше положение ни на волос не изменилось бы, если бы вместо наполеоновской династии обстоятельства вручили власть Генриху V, или графу Парижскому, или какому нибудь африканцу, продолжателю Кавеньяка.

Эта политика трусости и реакции неизменна, несмотря ни на какие перемены царствований: об этом свидетельствует главным образом то, что промышленный и финансовый феодализм, издавна подготовленный во время 36 лет реставрации, июльской монархии и республики, не переставал укрепляться и развиваться со времени государственного переворота. К нему примкнули люди всех партий. В последнее время он окончательно организовался и утвердился: выборы 1863 г. послали его в парламент в большом числе представителей. И не странно ли, что феодализм этот, по-видимому, хочет, подобно Социализму, отождествить политику с политической экономией; мало-помалу он сливается с правительством, вдохновляет его, преобладает над ним. В течение 11 лет, он, с церковью и армией, составляет жизненный нерв империи, и конечно, никто не скажет, что верность его когда-нибудь колебалась.

Между тем большие анонимные, лихоимствующие компании успели составить коалицию; вскоре средние классы, разоренные и поглощенные конкуренцией, низвергнутся в феодальное рабство или обратятся в пролетариев. Тогда пробьет решительный час, и если новый закон 31 мая не подоспеет на помощь этой системе, вопрос решится на поле битвы общей подачи голосов. Как будут держать себя в этих новых комициях средние классы? Окажут ли они то безкорыстие, которое недавно так безрассудно выказали рабочие классы? Увлечки эту чернь, соединятся ли они с нею? Мы видели, как действует эта жалкая, мелкая буржуазия; мы знаем, как и за кого подает она свой голос. Лишенная сознания и идеи, обманываемая своею журналистикою по всем современным вопросам, всегда расположенная верить, что перемена в личном составе и рутине правительства облегчит её страдания, неспособная пробить себе дорогу в политике вне протоптанной колеи, умеющая только назначать кандидатов кружков и отвергать кандидатов правительства, – она вряд ли догадается присоединиться к молодому элементу, к партии, которая думает, хочет,

действует, зовет ее, и которая сильна.

Итак, не подлежит сомнению, что со 2 декабря 1851, если не с 23 июня 1848 г., социальная демократия отлучена от общества, чтобы не сказать – исключена. Если не личности, то идеи наши стоят вне правительства, вне общества; не посмели еще только объявить нас вне законов. Этому препятствует принцип свободы мнений. За то стараются всеми силами лишать наши идеи всех средств распространяться; их предают продажным органам. Одним нам упорно отказывают пользоваться периодической печатью, между тем как все старые партии, все шарлатаны, все ренегаты, все сводники могут свободно распоряжаться ею. Если иногда нашему принципу и случится высказаться перед правительством, – привилегированные живодееры спешат как можно скорее уничтожить или устранить его, вооружив против него коалицию противных мнений. Члены временного правительства, когда в 1864 г. их выкопали из могил, с таким же ожесточением противились рабочим представительствам, с каким вожди финансового феодализма восставали, в течение 12 лет, против экономических планов демократии.

Господствующий теперь порядок таков, что истреблять нас считается спасать общество и собственность; он таков, что, если демократия не сумеет организовать себя и не научится бороться, нам в перспективе неизбежно предстоит умственный остракизм и инквизиция мысли. Что нам здесь делать? Примем же с гордостью наше отлучение, и, так как старый мир отвергает нас, отрешимся от него сами решительно.

Не пугайся слова «отрешение», мой проникательный читатель, и не клеветай на меня за него. Ты ошибешься, если подумаешь, что я проповедую народу или возмущение, или безропотную покорность. Во-первых, я чужд всякой вражды, всякого желания ненависти или междоусобия. Ведь уже известно, что я вовсе не человек действия. То, что я разумею под отрешением, просто условие всякой жизни. Отличаться, определяться – значит существовать, как смешиваться и поглощаться – значит уничтожаться. Разрыв, разрыв законный – единственное средство утвердить наше право и заставить признать себя политической партией. Это самое могущественное и самое честное оружие, как для защиты, так и для нападения. В течение долгого времени, социальная демократия лишь изредка заявляла о своем существовании частными изданиями; манифест Шестидесяти – первая и сильная попытка коллективного заявления, вышедшего прямо из среды народа. Слишком наивное заключение его известно; известно также, что сначала он был встречен одобрением, но потом устранен большинством демократических избирателей. Рабочих представителей не приняли, и хорошо сделали. Но подобная попытка не должна повторяться: это было бы позорно и глупо. Теперь пришло время действовать честным и разумным разрывом, который, впрочем во всяком случае, неизбежен. Рассмотрим же, в чем состоит этот разрыв.

На выборах 1863–64 г. рабочая демократия, обнаружив решимость заставить признать свои политические права, высказала, в то же время, свою идею и главные притязания. Она стремится, не более, не менее, как произвести в свою пользу экономический социальный переворот.

Но чтобы разрешить такую великую задачу, недостаточно более или менее двусмысленных заявлений на выборах, газетных исповеданий принципов и публичных лекций, устраиваемых некоторыми ораторами с дозволения полиции; недостаточно даже того, что некоторые практики, переходя от проповеди к делу, собирают вокруг себя, в обществах взаимного вспоможения или труда, несколько сот приверженцев. Дело реформации могло бы так тянуться целые века, не производя никакого результата и увеселяя от времени до времени консерваторов. Надобно действовать и в области социального дела, и в области политики всеми законными средствами, прибегать к коллективной силе, возбуждать все силы страны и государства.

Когда Людовик XVI, после пятнадцати лет бесполезных усилий, чувствуя свое бессилие, решился, наконец, сломить соединенное сопротивление двора и города, дворянства, духовенства, буржуазии, парламентов, финансистов и самого народа, он созвал государственные сословия. Последствия доказали, что этой всеобщей переставки было едва достаточно, чтобы революцию, уже совершившуюся в умах, провести в законодательство и жизнь.

С 89 г. Французская нация двенадцать или пятнадцать раз меняла свою конституцию, и каждый раз надо было приводить в движение все силы и весь разум страны. Предприятия гораздо меньшие, сравнительно ничего незначущие, – и те требовали соединенных усилий правительства и общественного мнения. Чтобы учредить Французский банк, Бонапарту нужно было иметь на своей стороне консульскую диктатуру и целую коалицию финансистов.

Могла ли вторая империя основать поземельный кредит, предмет стольких надежд, предвиденный монархией, обещанный республикой, требуемый и промышленностью, и земледелием, и городами, и деревнями? Нет, это национальное учреждение оказалось не по силам империи; и ей можно прямо сказать, что она не справится с ним.

Неужели рабочая демократия воображает, что может своими мелкими, несчастными ассоциациями, своими подписками по пяти сантимов в неделю, своими обыкновенными средствами уверения и пропаганды, произвести одно из тех обширных движений, которые возрождают общества и в несколько лет преобразуют мир? Ей неудастся даже устроить общую систему страхований и заменить взаимностью страховой взнос. Что же вышло бы, если бы ей пришлось вступить в серьезную конкуренцию с французским банком, движимым кредитом, учетной конторой, словом, со всеми этими финансовыми коалициями, располагающими миллиардами звонкой монеты?

Разве вы убедите финансовые общества в пользе и справедливости взаимности, если докажете им, что для страны выгодно занимать по 1/2 % вместо 8%? Разве компании железных дорог уступят свои тарифы? Разве капиталисты, которым нация должна теперь до 10 миллиардов, примут ваше учение? Разве торговля, по первому приглашению, так и вступит на путь обеспечения и дешевизны? Наконец, разве рабочие, которых нищета постоянно принуждает требовать повышения заработной платы, подадут первые пример, соглашаясь работать больше за меньшую плату, в надежде на соответствующее удешевление жизненных припасов и квартир? О правительстве я уже и не говорю:

атакованное со всех сторон, оно, конечно, не захочет хоть сколько-нибудь ограничить свою власть.

Последователи Фурье, по моему, очень заблуждались, веруя, что увлекут весь свет, если им позволят только разбить свой шатер и устроить первый образцовый фаланстер. Они предполагали, что первый, более или менее успешный опыт повлечет за собою второй и так далее, и идея их, двигаясь вперед, как лавина, охватит наконец всю нацию, так что в один прекрасный день все 37,000 общин Франции превратятся в группы гармонии и фаланстеры. В политике и социальной экономии самопроизвольное зарождение, как говорят физиологи, – принцип совершенно ложный. Чтобы изменить весь общественный строй, надо действовать одновременно и на весь социальный организм, и на каждую отдельную часть его. Как! Чтобы починить дрянную проселочную дорогу, нужна инициатива префекта, то есть центральной власти, нужны сборы с двадцати общин; а тут воображают, что можно увлечь тридцать семь миллионов душ какими-то подписками, пожертвованиями и быстро охлаждающимся рвением непостоянной и бессильной черни! Подобные бредни приличны только в школе Братства, Государства-Семьи и вольной любви.

Есть вещи, и очень важные, которые могут исполняться, развиваться, преуспевать одною лишь силою слова: такова наука, философия, религия. Но есть другие, которые требуют всех способностей, всей преданности и полного самоотвержения целого народа: между ними первое место занимают политические учреждения и социальные реформы. Будем проповедывать, писать, печатать, рассуждать – это наше право: того хотела Французская революция, обнародовав великий закон прогресса и, как орудие этого прогресса, свободу мысли и полную гласность мнений. Но пусть демократия не забывает, что, узаконив декретом свободу мысли и печати, революция хотела вызвать и обеспечить все последствия этой свободы, сущность которых в том, что управление должно принадлежать большинству; другими словами, что правительство должно следовать общественному мнению, куда бы оно ни повлекло его, лишь бы оно действительно было мнением большинства.

Таким образом, теперь, как и в 1848 г., у нас, во Франции, торжество рабочей демократии зависит от неё самой. Она должна доставить своей идее большинство и затем потребовать, чтобы правительство возвратило ей верховную власть. Весь вопрос в том, чтобы узнать, пойдет ли рабочая демократия, для достижения своей цели, обыкновенным путем выборов и парламентских прений, путем предвиденным и более или менее обеспеченным прежними конституциями, или не будет ли лучше для её идеи, достоинства и выгод, чтобы она выбрала другой путь, не выходя впрочем из пределов законности.

Я утверждаю, что правительство, в том виде, как оно было задумано и осуществлено во Франции с 1789 г., теперь уже неуместно; что рабочая демократия имеет серьезные обязанности; что она не должна уже терять времени на приискание себе адвокатов и на упреки правительству языками этих попугаев; что, наконец, эти упреки только компрометируют её и совершенно бесполезны, с какой бы точки на них ни смотреть.

Вспомним, что с 1849 г. старые партии, которых разделяют только политические предрассудки или даже просто дипломатические цвета, находятся в неразрывном союзе и заговоре против черни, нетерпения которой они опасаются; что, несмотря на ожесточение

их полемики, все они в сущности следуют одной и той же политической системе; что отличительные черты этой системы, – с одной стороны, правительственная централизация, а с другой, экономическая анархия, прикрывающая именем свободы грабеж, монополию, тунеядство, ажиотаж и лихоимство, которыми новая каста существует с 89 года; что при этом странном сочетании монархической власти и анархии капитала и торгашества, которое составляет буржуазный порядок, оппозиция правительству является уже не отрицанием системы, а её необходимою составною частью; что она противоречит правительству, но далеко от вражды с ним; что, наконец, старинные партии, легитимистская, орлеанская, бонапартистская и форменно-республиканская, поочередно сменяя друг друга в правительстве, поддерживают друг друга и действуют все заодно, не жертвуя при этом своими политическими мнениями; для очистки совести им достаточно воздерживаться от заговоров и не изменять своей касте и системе. Все это надо всегда иметь в виду.

Происшествия последних шестнадцати лет обнаружили это в самом ярком свете.

В 1848 г. республика учреждает всеобщую подачу голосов, назначает законодательное собрание, дает себе конституцию. Все это были просто вариации на тему идеала, которым мы одержимы с 89 г. Чем администрация, правосудие, политика правительства и общественная экономия республики отличались от того, чем они были в конце царствования Людовика Филиппа? Республика не сбила с толку никого, ни легитимистов, ни орлеанистов, ни бонапартистов; при ней все партии были очень довольны своим положением; даже духовенство, обвинявшее первую республику в ереси, приняло участие в трудах второй. Эта республика, создание формалистов, ничем не отличалась от монархии, и мы были правы, отрекаясь от неё.

Настало 2 декабря. Конституция 1852 года заменила конституцию 1848; в течение нескольких лет люди, исключенные государственным переворотом, держались в стороне по чувству собственного достоинства. Но наконец они одумались, и мы снова видели их, роялистов, республиканцев, членов временного правительства, на своих оппозиционных местах в парламенте. И неудивительно, потому что в конституции 1852, как и в конституции 1848, они узнали свой идеал в очень малоизмененном виде.

Другое дело трудящийся народ: он не нашел своего идеала ни в одной из конституций, которые Франция задавала себе с 1789 г.; и для него вся революция выражается только в разных неопределенных формулах, как то: общая подача голосов, право на труд, уничтожение пролетариата, и т. д. В 1848 г. он протестовал против конституции, а в 1863 снова ставит на очередь вопрос экономической реформы.

В 1848 г., в республике мы были, как дома: конституция, несмотря на свои признания и свои недомолвки, свидетельствовала о нашем существовании, о наших требованиях, о нашем близком торжестве. Наше подчинение было условное, временное; мы могли без противоречий, без отступничества, без клятвопреступления пользоваться всеми законными гарантиями, а тем временем собираться с силами и готовиться к преобразованию республики. Опираясь на право 1848 года, мы ожидали 1852 г.

Ныне, по восстановлении императорского престола, после закона, предписывающего депутатам присягу, после декрета 24 ноября 1860, после возвращения прежних партий и воскресения конституционной Оппозиции, – положение радикальной демократии изменилось. Правительство хранило молчание, но за него Оппозиция сказала нам: подавайте голоса заодно с нами или подите прочь. На это рабочей демократии следовало ответить, как десять колен иеровама: Хорошо же, буржуазы; обделяйте себе ваши делишки! А ты, Израиль, назад к своим шатрам!

Но дело разыгралось иначе. Рабочая демократия, предпочитая действие слову, забрала себе в голову, что ей здесь есть какое-то дело; вместо того, чтобы отделиться, она снова сделалась смиренной прихвостницей; точно детеныш двуутробки, она вернулась в носившую ее утробу и по безрассудству подала голос в пользу Оппозиции, которая не хотела и не могла ее признать.

Итак, мы видим, что политический и экономический идеал рабочей демократии далеко не тот, который, вот уже 70 лет, тщетно преследует буржуазия. Поэтому мы не можем участвовать с буржуазией не только в одном парламенте, но даже в одной Оппозиции: у нас слова имеют совсем другое значение; наши идеи, принципы, формы правительства, учреждения, нравы совершенно иные. Постоянно, но бесплодно обещаемые вольности и гарантии 89 года, неосуществимы в буржуазном конституционализме, тогда как в демократической системе они вытекают сами собой без всякого затруднения. Отсюда мы приходим к неизбежному заключению, что, если рабочий народ мог отвергнуть на последних выборах кандидатов правительства, как представителей идеи, противной его принципу, то тем более следовало ему поступить точно также с кандидатами Оппозиции, потому что и те, и другие представляют одну и ту же идею, одну и ту же политику, один и тот же порядок, с тою только разницей, что министерские кандидаты откровенно выдают себя за то, что они есть, тогда как оппозиционные обманывают своих избирателей, скрывая свою мысль.

Если рабочий класс придает себе какое-нибудь значение и если он гонится не за призраком, то должен знать, что прежде всего ему нужно выйти из-под опеки и, не заботясь ни о министерстве, ни об Оппозиции, действовать отныне самостоятельно и только для себя. Быть или силою, или ничем – вот что ему предстоит. Подав голос за кандидатов 31 мая 1863 и 20 марта 1864, рабочая демократия обнаружила недостаток решимости и благоразумия. Она забыла себя, и для кого же? Для врагов! Манифест Шестидесяти возвысил ее на степень патрициата; но её подача голосов низвела ее в разряд отпущенников.

Версия #1

Зверобой создал 20 марта 2025 09:48:12

Зверобой обновил 20 марта 2025 09:48:38